

Городские хроники

* * *

До Очакова прежде — всего два часа, на подводных крыльях "Комета",
потом пять часов ждешь катера — посудина, каких мало,
и тащишься на косу вдоль берега, посередине лета,
которое всем давало, а вот и тебе перепало.

Москвичи здесь строили дачи на закате восьмидесятых,
в девяностые — все разъехались, и все развалилось на фиг.
Местные живут, как жили, в беленых хатах,
а еще тут мак, конопля и умеренный наркотрафик.

Был клуб, закрылся, отдали церкви — по назначению,
на за год священник с бывшим директором спились на пару.
Была и школа, но вывелись дети, и какое сейчас ученье?
Зато банька — осталась, хорошо поддают пару.

Пьет каждый первый, каждый второй рыбачит,
иногда проплывают мимо катера рыбнадзора.
Если здесь живешь, — браконьерствуешь, значит —
встретил друга, считай, что поймал вора.

Сети запрещены, а на удочку здесь никогда ничего не клевало,
утром увидишь след змеи на песке полоскою извитою,
или, лодку переворачивая, спугнешь гадюку, бывало,
и гадюка плывет, головку приподняв над водою.

* * *

Иосифу Островскому

Восьмидесятые. Мастерская художника. Книги на полках.
Картины, повернутые к стене.

В последние годы жизни он рисовал бородачей в ермолках, будто хотел восстановить их численность в этой стране.

Рисовал — с газетой, трубкой, скрипкой, виолончелью, опять — с газетой, с поднятой рюмкой, с опущенной головой, всклокоченной бородой, утраченной целью, золотую цепью с брегетом, рыжим жилетом, ухмылкой кривой.

Его картины висели в квартирах у родственников и знакомых, деды которых были похожи на эти портреты, но... Сохранились бы фотоальбомы — были бы фото в альбомах. Тела лежали б на старом кладбище, но кладбище снесено.

Сам художник был молод, не отпустил бороды, не носил ермолок и не хотел быть похожим на еврейского старика... Не него недовольно поглядывал слабеющий государственный Молох, но помалкивал, только грозил пальцем издалека.

* * *

Ни задуматься над жизнью, ни дрожать над ней:
придвигается ближе, прижимается плотней.
Что-то сбивчиво шепчет прямо в ухо, не поймешь.
Мысль нашептанная, тихая, но все-таки — ложь.

Город тоже скособочился, облупился атлант,
знай себе цветет акация, играет музыкант,
джазовый дуэт саксофон-магнитофон.
На гранитном постаменте чугунный грифон.

Военная гавань: эсминец, катера,
бывшая подлодка, товарищи — ура!!!
Мороженое сливочное, прямо со льда.
Морячки-солдатики, горе не беда!

Бывшая подлодка, светло-серый огурец,
тещин мост, колоннада, Воронцовский дворец.
Из ниши под лестницей надгробная плита
выплывает медленно, на манер плота.

"Здесь лежит" — написано, но он лежит не здесь.
Век прошедший тянется, закончился не весь.
Девочка гуляет с папироской во рту.
Бумажные кораблики швартуются в порту.

* * *

Через десять лет после окончания войны,
она еще не ушла из города: живые обрубки солдат
попадались на каждом шагу, в большинстве были пьяны.
Помню коляски с моторчиками, крики, надрывный мат.

Были доски на четырех подшипниках — это для тех,
у кого ампутация на уровне бедер, но руки целы — вот повезло!
А у кого-то раненье в промежность — ни деток, ни блудных утех.
Зато — на своих двоих, в раму вставляет стекло.

Стеклорез-алмаз, мы думали — ну и богач!
А другой ходил, кричал, точил ножницы и ножи.
По клумбе на площади ковылял одинокий грач.
Дом был частично разрушен. Раны были свежи.

А этот хрипел: "Когда я вернулся, здесь
не было ни жида, ни жиденка, а вот теперь опять
на свет повылазили!" Не понимая слов, я сжимался весь,
и, выйдя во двор, меня домой уводила мать.

* * *

Я помню руины домов после давних бомбежек,
на стене коммунальной кухни мухоловок-сороконожек,
летний кинотеатр в Доме ученых —
между рядов топает симпатичный ежик.

Пять военных лет до меня, плюс столько же послевоенных.
Стройки силами немецких военнопленных.

Деревянный пенал. Складной перочинный ножик.

Помню пьяных калек на улицах — все калечнее год от года.
Весной цветут каштаны, потом акации. Хороша погода.
Осиные талии, плечики, сумочки — это такая мода.

Юноши в светло-сером, а то и в белом.
В ателье портной размечает выкройку мелом.

Возвращают-прощают врагов народа.

Дедушка, подымая рюмку, говорит по-старинке: "Прозит!"
Мимо окон гробы с оркестром когда провозят, когда проносят.
Выброси старую шубку! Зачем? Кушать не просит.

Пусть моль в шкафу ее ест за милую душу.
А так, погляжу на шубку — и вспомню покойную тетю Ньюшу.

Володя гуляет с Наташей. Но Зину свою не бросит.

За ребенком нужно присматривать — больно прыток.
К Первомаю почтовый ящик полон цветных открыток.
Если не будет войны, в магазинах будет избыток.

Значит, нужно еще раз выпить за мир во всем, как положено, мире.
Будет вам изобилие — размечтались! Держите карманы шире.

Вышила бы наволочку, да не хватает зеленых ниток.

Пятачок со звоном падает в гипсовую кошку-копилку.
Отец прикупил приемник, вставляет в розетку вилку.
БиБиСи, глядя из Лондона, прорывается сквозь глушилку.

Зеленый глазок — треугольный сектор то шире, то уже.
Дворовые небеса глядят на свое отражение в луже.

Покрутившись, песик ложится спать на подстилку.

* * *

Родиону Фединёву

Человек говорил: "Вишневый сад был именно здесь.
К чеховскому юбилею нужен бы мемориал".
Беда, что сто лет как сад был вырублен весь,
а человек — болел, в сущности — умирал.

Сожжена беседка, усадьба под корень разорена,
потом разрушена, но, если раскопки, — можно найти
фундамент, по фотографиям все отстроить и на
том же месте весной саду сказать: "Цвети!"

И сад расцвел бы не по приказу, а сам по себе,
по природной любви к цветению и белизне,
а черный грач сидел бы на рыжей печной трубе,
головой бы вертел и радовался весне.

Человек говорил: "Своего сада нет, пусть цветет чужой
сад российской словесности, будто бы век назад
не был выкорчеван, пусть стоит над душой,
пусть простирает ветви над нами вишневый сад!"

Человека нет, но в стране мечтаний он выходит на склон,
вместе с черной птицей радуется весне.
А по аллее блуждает заботливо выращенный клон
писателя в шляпе, с бородкою и в пенсне.

* * *

У королевы всегда есть король,
а также рыцарь и паж.
Когда-никогда попадется не столь
знакомый типаж,
не из колоды, иной фигурант,
к примеру, художник, рок-музыкант,
графоман-меломан-наркоман,
душа, что дырявый карман.

Пишет, рисует, играет, поет,
не по уму гниет.

Вот тогда-то для короля
небеса с овчинку, с пятак земля,
а рыцарь — внутренних войск капитан,
наливает третий стакан.
Грустны глаза студента-пажа
с третьего этажа.

У королевы всегда есть двор,
Мясоедовская, двадцать пять.
Там о ней говорят до сих пор:
прости Господи, та еще блядь.
Галерея, тумбочка у дверей,
тщедушный сосед-еврей.

Одесский кофе, киевский торт,
направление на аборт.

Все это тоскливо, все это старо —
как мир, как карты таро.

Завтра будет иной расклад —
дело пойдет на лад.
Королева на балконе стоит:
связка прищепок на шее, халат,
в общем, тот еще вид.

Черное кружевное белье.
Словно умер кто у нее.

* * *

Лохотрон в подземном, мать его, переходе:
подходит баба, говорит, ты выиграл, к примеру — видик.
Нечто гнилое расцвело-прижилось в народе.
Каждый второй — алкаш или паралитик.

Любое столетье кончается вырождением, как будто
эпоха заботится, чтобы о ней не жалели.

Привокзальная, мать ее, площадь. Фанерная будка.
Инвалид-афганец в советской солдатской шинели.

Всё — на месте, но все поменялись местами.

Чем-то торгуют, сводят концы с концами, баулы тащат.

Например, планетарий снова украшен крестами,
а у входа в наколках сидят пацаны и глаза таращат.

А платаны не изменились, кроны кишат грачами.

Последний снег на газонах и крышах тает.

Даже ночи светлее, но кто же гуляет ночами,
даже если не спится и воздуха не хватает.

